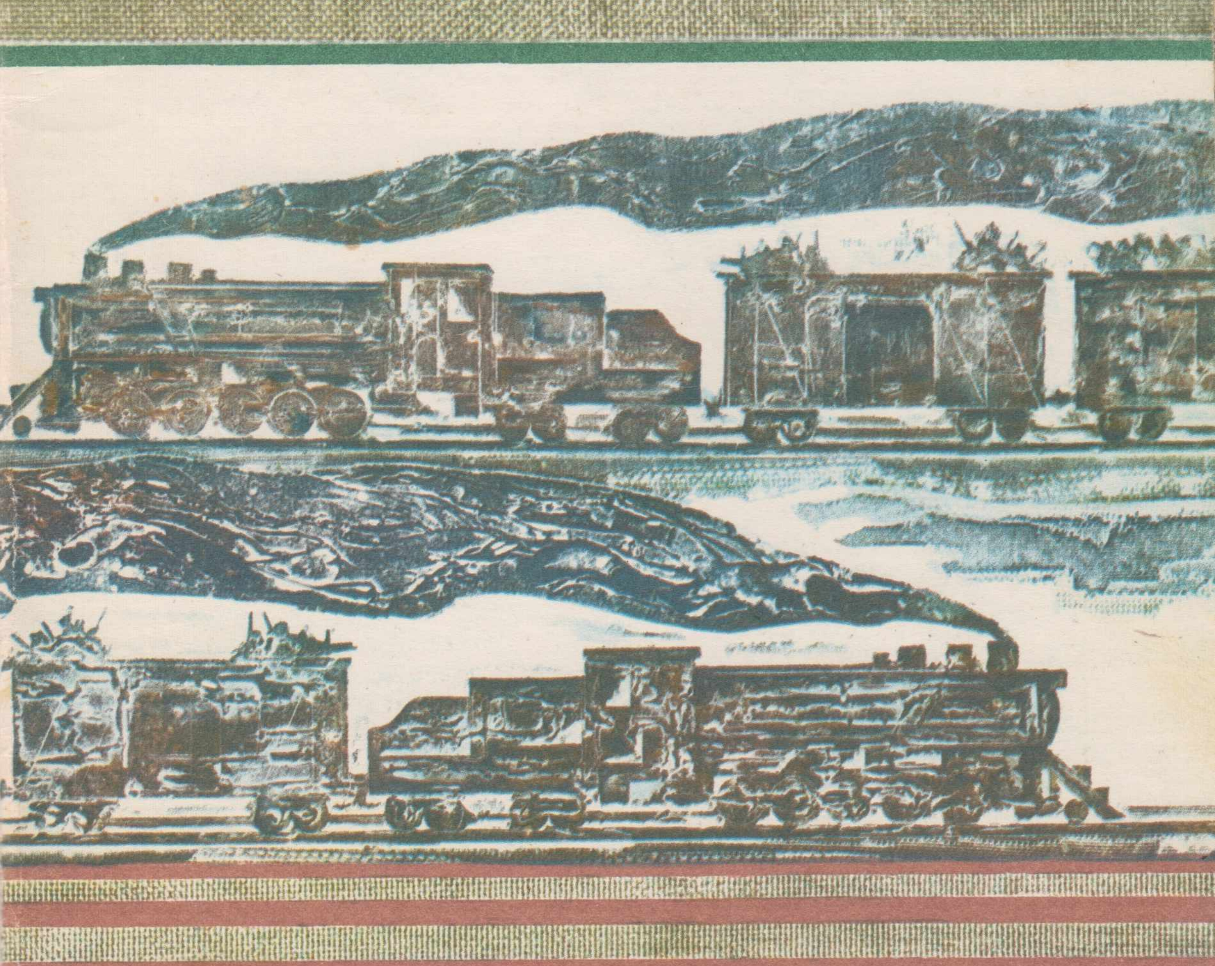
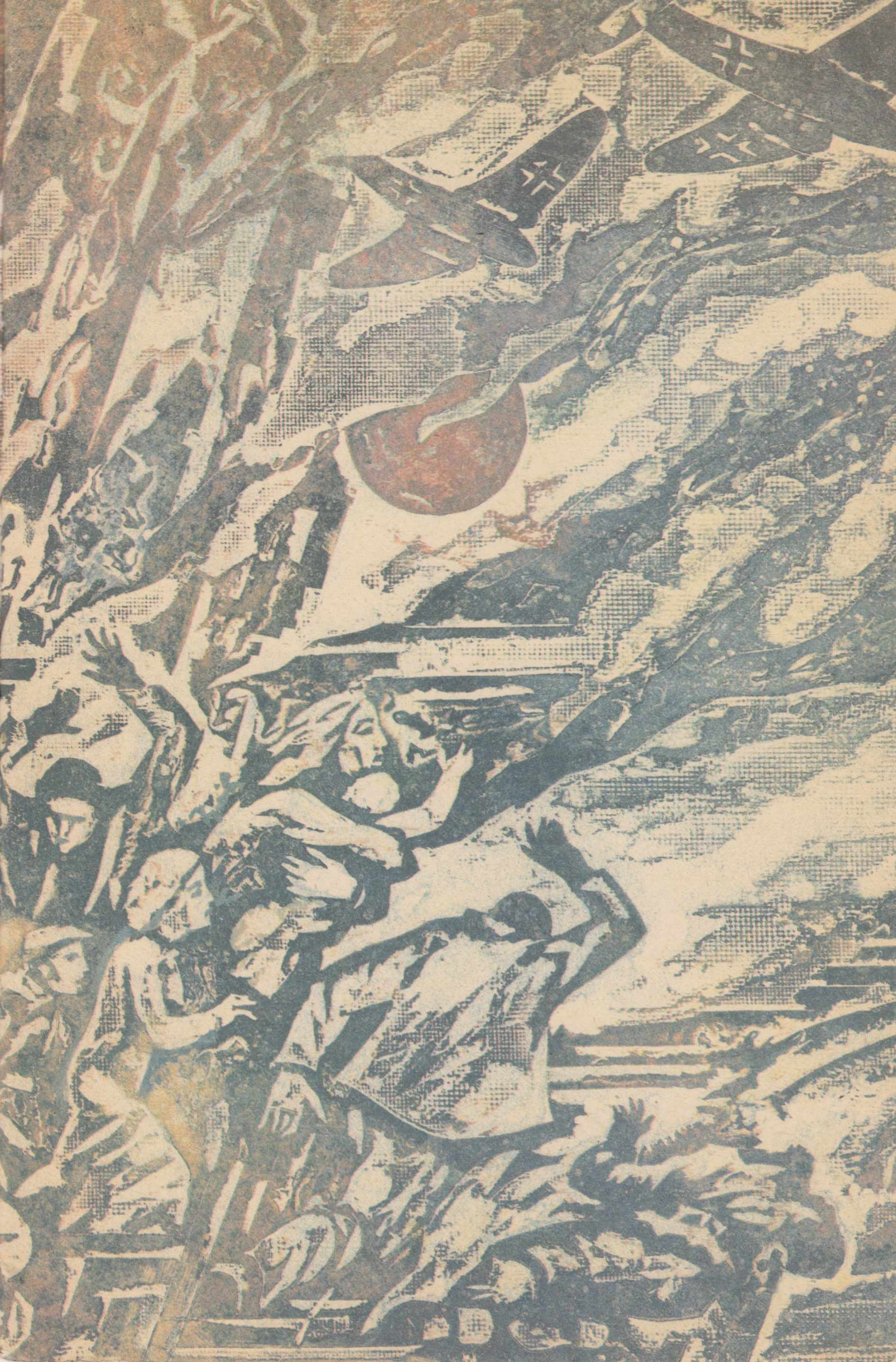
МИКОЛАС СЛУЦКИС

ЖИВИТЕ!







84Ли7
С49

Mykolas Sluckis Vėjų pagairėje
Valstybinė grožinės literatūros leidykla,
Vilnius, 1958

$$С \frac{4803010200-364}{М852(08)-85} 294-85$$

МИКОЛАС СЛУЦКИС

ЖИВИТЕ!

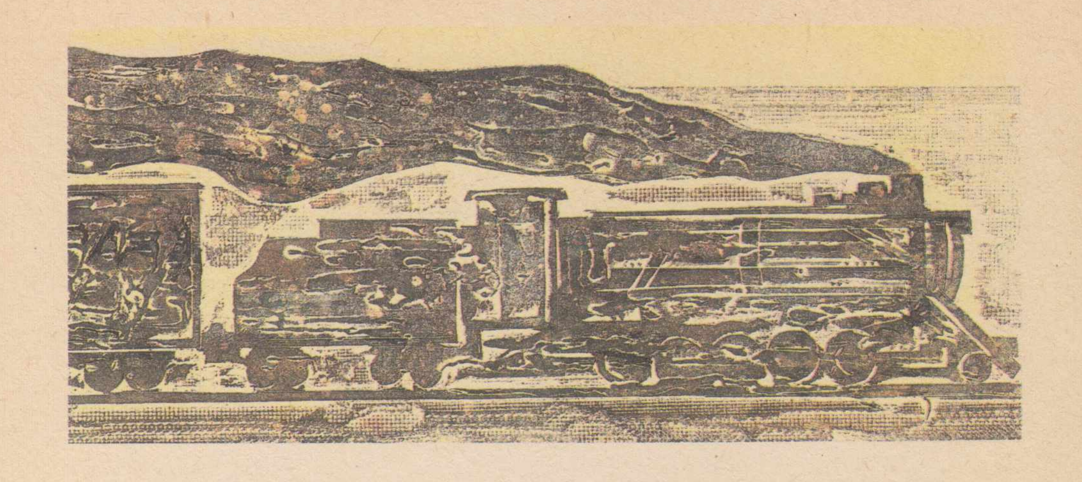
РАССКАЗ

Перевод с литовского
Б. ЗАЛЕССКОЙ

Художник
ВИКТОРАС БАКШИС



ВИЛЬНЮС 1985



По рельсам пролетел состав — быстрый, как стрела, и голубой, как птица. Ни дымка не оставил, ни копоти. Воздух чист, пахнет смолой и придорожным чабрецом. Будто и не грохотали только что на стыках чугунные колеса, сверкают, отражая вечернее солнце, накатанные рельсы...

Однако я продолжаю слышать гул промчавшегося экспресса, даже уши закладывает. Нет, не его слышу я тихим летним вечером — тысячи других поездов, днем и ночью пыхтевших по бесконечным дорогам войны, когда раскалывалось небо и сотрясалась земля. И острый запах покореженного железа, порохового дыма, развороченного бомбами живого чернозема. Из тысяч эшелонов, захлестывавших железные дороги, большие вокзалы и безымянные полустанки, выныривает вдруг один. Он катится тяжело, со стоном и скрипом, так тяжело, словно хрипло дышит смертельно уставший человек. Кажется, совсем рядом со мной проползают утыканные для маскировки березками его обшарпанные теплушки, и паровозный дым, а может, и слеза ест глаза. И вот уже вижу вагон, ничем вроде бы не отличающийся от своих собратьев — так же изрешечены осколками его

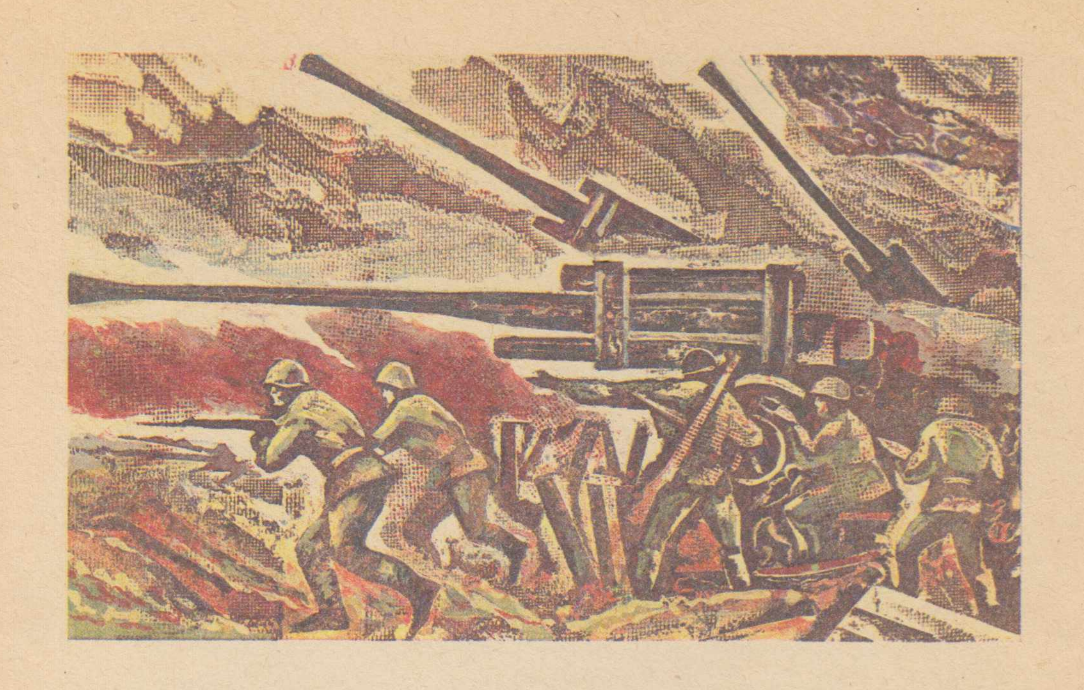
стенки — но его колеса вечно будут стучать в моем сердце. И так ясно-ясно, словно вновь сижу скрючившись на дощатых нарах, слышу:

— Жи-ви-те! Жи-ви-те! Жи-ви-те!

О, как хотелось нам жить!.. Мы были молоды, очень молоды и не желали думать о смерти. Дышать! Пусть не ароматами сосен и цветов, пусть хотя бы бензинным перегаром; сбитые с ног ревом пикировщика, уткнувшиеся носами в жухлую пыльную траву, мы жаждали подняться вновь и, когда стихнут разрывы, пусть хоть на миг ощутить под ногами твердую землю, соленый пот на лице, похрустывание песка на зубах. Как хорошо чувствовать влажным виском живительное дуновение ветерка, как хорошо смотреть в грозное небо и мечтать о закате, о темноте, которая укроет и от зноя, и от воющих самолетов со свастикой. Только бы не остаться во рву, когда все встанут, только бы не лежать сломленным, как та перебитая осколком березка, которой уже не суждено шелестеть на ветру, только бы не окропить своей кровью ненасытный песок военной дороги!..

О, как нам хотелось жить! Сотни километров прошли мы к востоку от Паланги, повсюду встречая страшные приметы войны: то солдата с посиневшим лицом и после смерти не расстающегося с винтовкой, то мать с мертвым ребенком на руках, то вздувшуюся, как гора, лошадь. На окровавленных, разбитых ногах, падая и поднимаясь, сходя с ума от жажды и слизывая росу с листьев, рвались мы к жизни, она сквозь густой дым пожарищ соблазнительно манила нас мечтательными полосками лесов, красными кровлями латвийских городков, проносившимися вдали поездами.

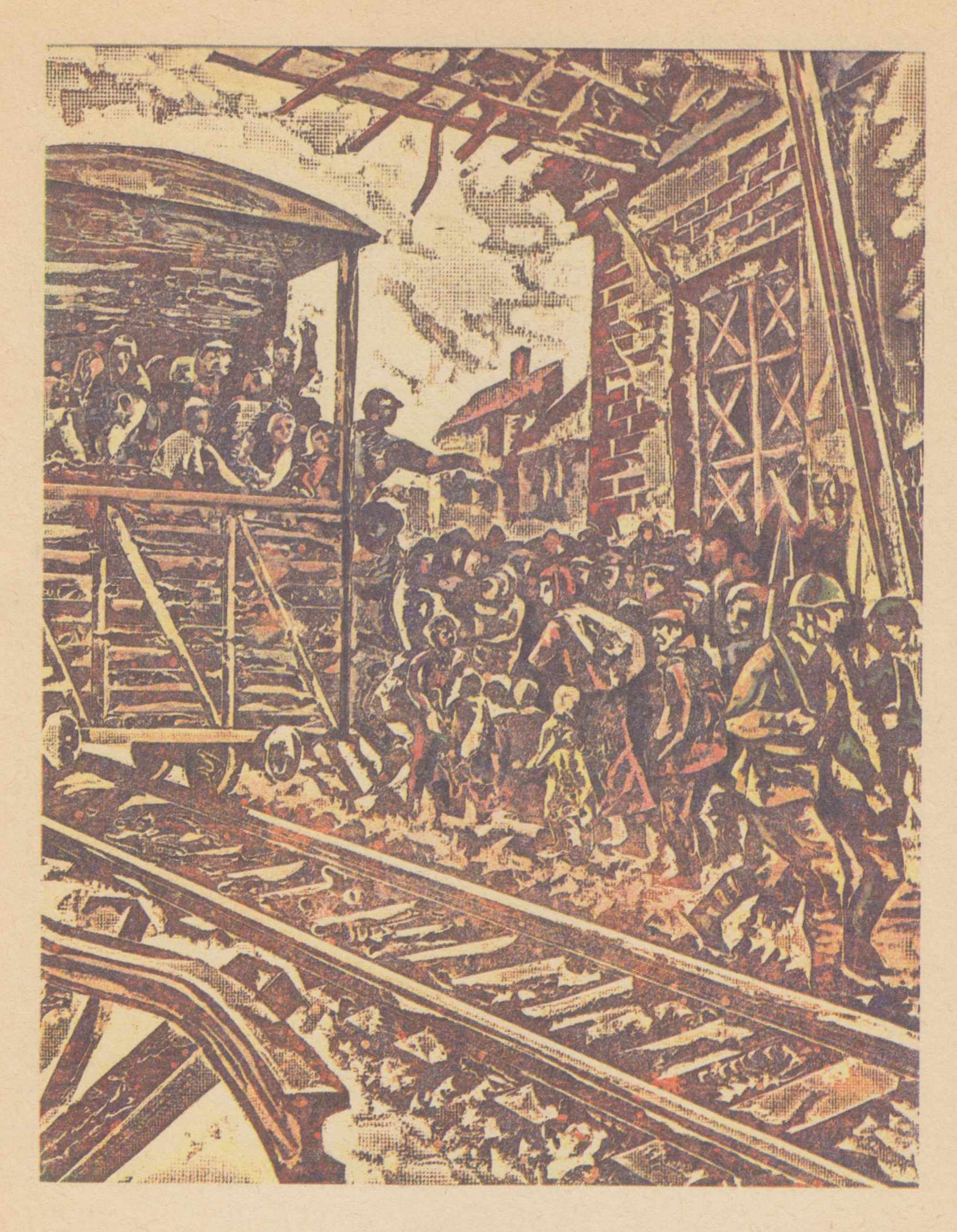
Музыкой звучал для нас каждый звук, напоминавший пронзительный свисток паровоза, но



стрелки семафоров маленьких станций, казалось, открывали путь только самолетам, а паровозы, будто им надоело вечно пыхтеть, валялись под откосами и были беспомощнее пешеходов.

Наконец впереди замаячил крупный железнодорожный узел; пути, как стаей птиц, были забиты эшелонами, тоскливыми криками они словно бы прощались с теми, кто отстал или затерялся в просторах войны. Мы слышали эти жалобные крики и, как слепцы, цепляющиеся за тонкую солнечную нить, брели вперед, пока не подошли к городу.

Перед нами был большой железнодорожный вокзал с крытым перроном, его стеклянная крыша звенела, как сотня струн, когда над ней на бреющем пролетали наши или вражеские самолеты. Неподалеку хлопали зенитки, и вместе с осколками снарядов, разбрызгиваясь ледяными пузырями, сыпались на перрон стекла. Сновали вооруженные автоматами, увешанные гранатами военные, в распахнутом ресторане бесплатно раздавали



беженцам обеды, но рельсы, которые только недавно были забиты составами и толпами людей, теперь извивались, пустые и мрачные. Лишь один-единственный эшелон, сунув хвост под дырявую хрупкую крышу и растянув длинное туловище до самого семафора, готовился к отправле-



нию. Какая-то невиданная машина остервенело вспахивала соседние пути, срывая рельсы, раскидывая шпалы, и мы поняли: этот эшелон последний.

Последний эшелон — наша последняя надежда...



Спотыкаясь о шпалы, перепрыгивая через груды битого стекла, побежали мы по перрону. Бросались от одного вагона к другому в поисках местечка. Несколько раз обежали кругом весь состав — нигде ни щелочки. Битком набитые теплушки клокотали, а нас было немало — двад-

цать ребят из расстрелянного Палангского пионерлагеря. Задыхались, падали в обморок женщины, кричали дети, бредили больные, и люди печально качали головами не в силах помочь нам. Какой-то пожилой человек сунул буханку хлеба, какая-то женщина дала круг колбасы, но нам нужно было только одно: пролезть в вагон, уцепиться и ждать, пока не завертятся чугунные колеса...

Мы сбились в кучку перепуганные, прижимая к груди этот ненужный хлеб и колбасу, а там, откуда мы совсем недавно пришли, откуда нас, измученных, позвал сюда зычный паровозный гудок — в стройной березовой рощице что-то гулко взорвалось. Мы так привыкли к опасности с воздуха, что все, как по команде, упали на землю, глядя вверх. Однако в небе не ревели самолеты, хотя на этот раз нам даже хотелось, чтобы в синеву взмыла хищная птица. Значит, там не бомба, значит, фашистская артиллерия... Словно подтверждая нашу страшную догадку, поспешно опустили свои тонкие стволы зенитки, окопавшиеся возле вокзала.

Все оцепенели в отчаянии, даже малыши перестали плакать, глядя на пыхтящий паровоз.

— Обождите, ребята, куда вы? — услышали мы русскую речь.

В открытых дверях теплушки стоял высокий молодой солдат с бинтами на голове и груди, белевшими из-под расстегнутой гимнастерки. Сквозь бинты сочилась кровь, и мы, онемев, с ужасом уставились на это расплывавшееся красное пятно.

— У вас кровь течет...— проговорил кто-то из наших, пошептавшихся между собой и собравших по одному несколько русских слов, которые мы успели выучить по дороге.

— Ничего, ребятки, крови у нас хватит... А вы

откуда? Отступаете? — спросил раненый, скорее угадав, чем поняв смысл наших слов.

Запинаясь, мешая русскую речь с литовской, перебивая друг друга, пытались мы рассказать о себе.

Солдат терпеливо слушал, хотя, наверно, ничего не понимал; из-за его спины выглядывало еще несколько солдат, тоже перевязанных и безоружных. У всех были измученные, бледные, озабоченные лица.

А потом тот первый, которого товарищи называли Семеном, соскочил на перрон и, пошатываясь, как пьяный, подошел к военному врачу, что-то строго приказывавшему стайке медсестер. Совсем не по-военному, тихонько коснувшись рукой гимнастерки врача, Семен кивнул забинтованной головой в нашу сторону. Потом вполголоса что-то долго втолковывал врачу.

— Нельзя, говорю, что нельзя! — строго повторял врач, сопровождая свои слова энергичными взмахами руки, будто рубил топором.

Солдат не отступался, говорил все горячее, придерживая рукой кровоточащую голову, но мы разобрали только два слова:

— Пускай живут!

Сгрудившиеся в дверях солдаты внимательно прислушивались к переговорам и повторяли то же самое, только немножко по-другому:

— Пусть живут, доктор!

Из глубины теплушки, где, вероятно, лежали тяжелораненые, доносилось, словно приглушенный стон:

— Пусть, пусть... живут...

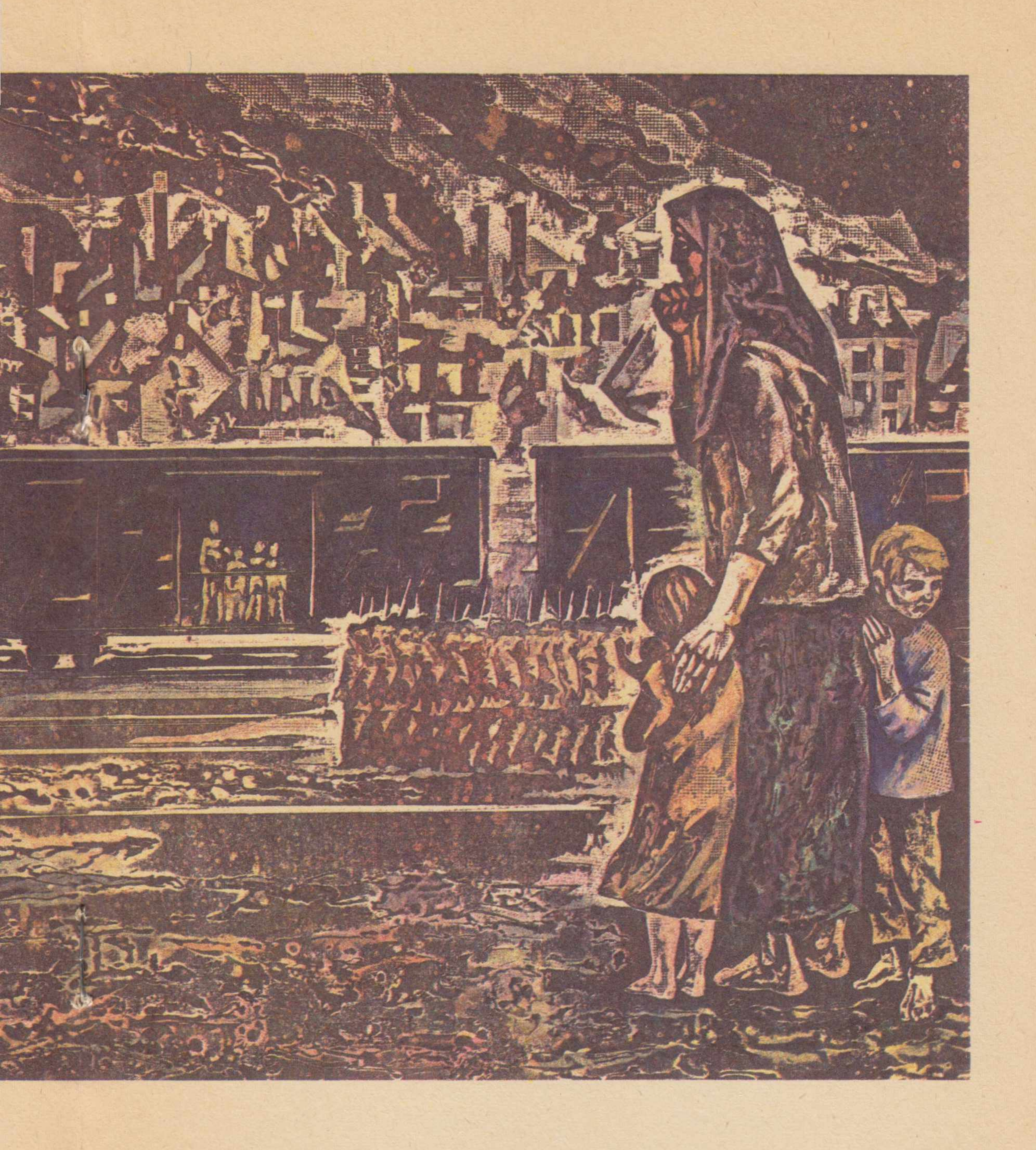
Врач нахмурил седые брови и, окинув строгим взглядом приготовившиеся стрелять зенитки, окутанный паром локомотив, дырявую стеклян-



ную крышу перрона, вдруг с прояснившимся лицом махнул нам:

— Живите, ребятки!

Мы еще не знали истинного смысла этих слов, но ясно поняли, что не останемся одни на разру-



шенной станции, что мы теперь спасены... Солдаты поманили нас, и мы забрались в вагон для тяжелораненых.

В то мгновение засвистел паровоз и эшелон тронулся.

Болтались порванные провода, кирпичные дома предместья высились, как надгробия на огромном кладбище, гремели орудия, а колеса все громче, все веселее постукивали, и в железной их песне нам слышалось это непонятное русское слово:

— Жи-ви-те! Жи-ви-те! Жи-ви-те!

Забравшись под деревянные нары, мы не смели шелохнуться, все еще боясь, как бы не высадили. Кругом, словно призраки из сказок, стонали тяжелораненые, покалеченные осколками снарядов, минами и пулями. Сначала мы не различали отдельных лиц — видели только одно страшное, изуродованное лицо. Острый запах лекарств и окровавленных бинтов прямо-таки душил нас. От этого запаха, а может, от ужасной картины страданий у нас кружились головы. Будто падали мы с огромной высоты или погружались вместе с теплушкой в пучину волн.

Казалось, что смерть, буйствовавшая на дорогах, вместе с нами пробралась в вагон, затаилась в углах и под нарами, готовясь схватить и нас. Однако раненые дышали, а когда поглядывали на нас, по их измученным лицам блуждала улыбка...

Скоро мы ничего уже не видели, потому что веки слипались, и все бессонные ночи, нахлынув разом, прижали нас к доскам пола. Во сне мы все еще брели, измученные жаждой и голодом; заслышав свист бомб, забивались в канавы и кусты. И, наверно, кричали, потому что, просыпаясь на мгновение, слышали озабоченные, ласковые голоса:

— Что, что, ребятки?

Раненые не спали, возможно, мы своими криками не давали им сомкнуть глаза, а может, в переполненном вагоне не хватало воздуха...

Однако сон освежил, и утро мы встретили от-

дохнувшими. Уже не так мучали нас перевязанные головы, стоны, приглушенный шепот, и на улыбки раненых мы отвечали радостными, благодарными улыбками.

Мы были почти счастливы! Почти счастливы и в тот, и на следующий, и во все остальные дни. Мы не могли нарадоваться тому, что уже не нужно брести по раскаленной пыльной дороге, что над нами не грозное небо, прорывающееся сериями бомб и снарядов, а потолок вагона. Странно, распухшие, сбитые в кровь ноги не двигались, и все-таки несла нас в безопасную даль какая-то спокойная, добрая сила. Другим, абсолютно другим казался и мир, который, то темнея, то освещаясь, мелькал за открытыми дверями теплушки. Словно впервые увидев такое, глазели мы на излучину реки, сверкавшую, как огромный рыбий плавник. А то, глядишь, заморосит дождь, хотя тучка совсем маленькая. Можно высунуть наружу давно немытую руку и поймать несколько капель... Пока мы вот так смотрели и слушали, у нас оттаяли губы, распрямились спины, а из груди начал вырываться смех — не прежний, беззаботный, похожий на птичье щебетание, но все-таки смех... И словно услышав этот наш смех, увидев робко высунутую, обращенную к небу ладонь, нас с воем нагоняли стервятники со свастикой. Только нам хотелось стремглав нырнуть куда-то, удрать из эшелона, который едва плелся, осторожно переползая через мосты и подолгу простаивая где-нибудь в лесу или в чистом поле. Нередко, просыпаясь, мы видели ту же самую рощицу, в которую вчера садилось солнце...

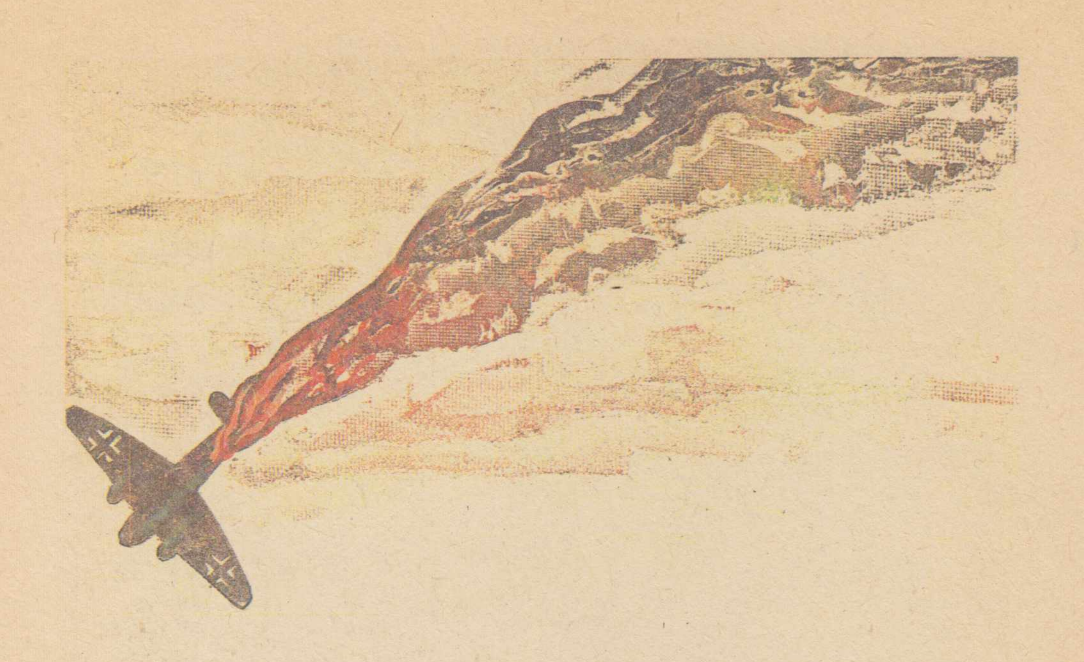
Что? Может, больше не едем? Может, паровоз уже разбомбили? Наши хозяева молчали, и нельзя было понять, о чем они думают, уставившись лихорадочным взглядом в замерший потолок или в

открытые двери. Даже когда свистели бомбы, которые, казалось, вот-вот раздавят эшелон, как гусеницу, они не шевелились, а только громче и чаще дышали, и, завороженные их спокойствием, мы не прыгали из вагона, не бежали прятаться. Только когда бомба разрывалась совсем рядом и по стенкам теплушки барабанили комья земли, тревожную, чуткую тишину порой прорезало крепкое, как выстрел, ругательство. Слышался гул удаляющегося самолета и торопливый треск пулемета — устроившиеся на крышах эшелона пулеметчики палили вслед пикировщику. Однажды пулеметная очередь обрубила ему хвост; с ревом, давясь клубами дыма, стервятник вонзился в недалекую рощу. Стоявший в дверях вагона Семен вскрикнул, мы даже подумали, что он опять ранен пулей или осколком. Но когда он повернулся, в его расширившихся голубых глазах, казалось, еще мелькала тень падающего самолета... Эта тень сразу же пронеслась во всех не прикрытых бинтами глазах, и единственный раз во время налета мы услышали смех раненых. Это был счастливый, победный смех!

Долгий-долгий путь возвещали гудки паровоза. У нас было море времени — дни, ночи, недели. Солдаты кормили нас консервами, сухарями и крепким колотым сахаром. Сами они ели мало, только часто и жадно пили и даже во сне, жутко вскрикивая, просили воды. Утолив жажду, преодолев боль, они заговаривали с нами. Немного могли мы им рассказать, с трудом подбирая русские слова и так смешно произнося их, что даже тяжелораненые хохотали. Лучше всех сговаривался с нами Семен, взявший нас под свою опеку с первого дня. Совал нам белый сладкий кусочек и произ-



носил: «сахар», говорил: «нож» и показывал свой ножик, а когда жаловался: «голова болит» — притрагивался к своей перебинтованной голове и озабоченно причмокивал губами. Поняв его, мы весело улыбались; удовлетворенно смеялся и Семен, хотя раны его не заживали и голова болела



все сильнее. Во время одного такого урока мы спросили, что значит то доброе русское слово, которое открыло перед нами двери теплушки с тяжелоранеными.

Семен почему-то удивился, может, не понял вопроса. Некоторое время смотрел на нас недоуменно, облизывая запекшиеся от жара губы.

Вдруг, что-то решив, он печально усмехнулся и слегка повернул свою тяжелую голову в сторону соседа, который лежал на нарах, спеленутый бинтами, как куколка бабочки. Мы ни разу не слышали его голоса, не видели его волос, рук. На черном обожженном лице неожиданно открывались опухшие веки и вспыхивали большие черные глаза. Может, они и не были черными, но человек смотрел словно издалека, словно из темной ночи.

Глухим голосом, совсем не таким, который мы привыкли слышать, Семен сказал:

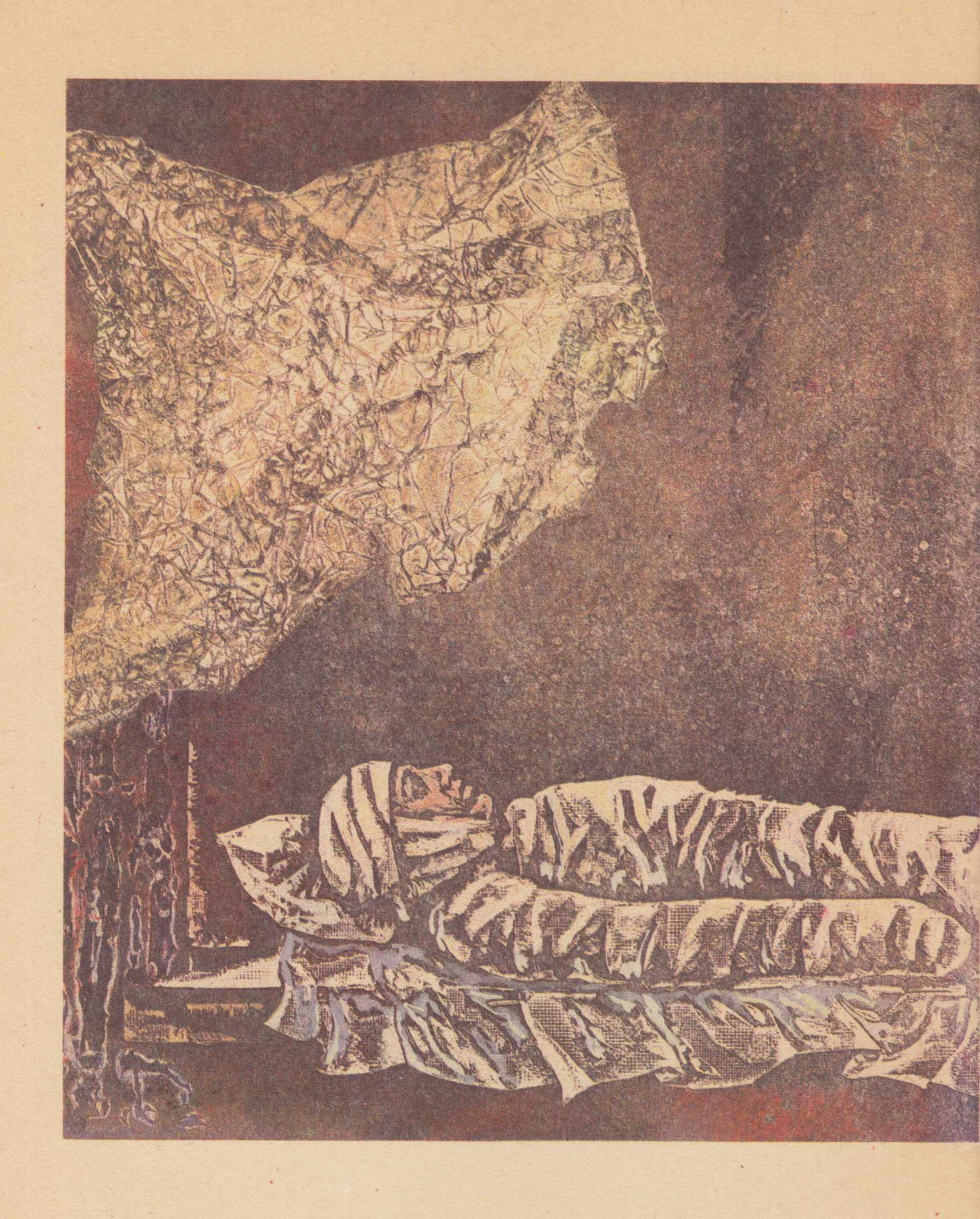
— Он не будет жить... Понимаете? Не будет!.. А вы будете долго-долго... Живите, ребятки!

Больше объяснять не понадобилось... А когда на другой день запеленутого солдата вынесли на



безымянной станции и похоронили под кривой ивой, даже малыши поняли все. Мы плакали, и Семен, всегда запрещавший нам хныкать, сам не сдержал слез.

Как это удивительно — жить!



«Живите!» — выстукивали нам колеса, выкрикивал паровозный гудок, шелестели увядшие березки, натыканные в щели вагона и все еще распространявшие аромат родных полей. Черствый



солдатский хлеб и жесткая солдатская ладонь, огрубевшая от винтовки, тоже призывали нас жить, улыбаться заре, радоваться картинам невиданных городов и сел.



Эшелон громыхал по широким русским равнинам, по необъятным лугам и полям. Над нами висело спокойное небо, которое после Смоленска уже не бороздили вражеские самолеты. Теперь мы все чаще простаивали на запасных путях, но уже



не пугались этого и не сердились. Неудержимым потоком спешили нам навстречу состав за составом воинские эшелоны, нескончаемые платформы с танками и пушками, вереницы вагонов с поющими бойцами. Их песни и суровый звон металла вновь и вновь напоминали нам, что мы живы. И именно тогда, когда в наших сердцах начал меркнуть ужас, когда казалось, что теперь уже не погибнет больше ни единый ребенок и ни единый солдат, нас подозвали к умирающему Семену.

Но и теперь, когда, цепенея от недетской скорби, окружили мы его нары,— солдат едва дышал и не мог поднять голову,— мы снова услышали, как он с трудом, последним усилием воли, но внятно произнес:

— Жи-ви-те!..





20 коп.



ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ИБ № 4079

МИКОЛАС СЛУЦКИС. ЖИВИТЕ. *Рассказ.* Редактор *Е. Васильева.* Худ. редактор *С. Хлебинскас.* Техн. редактор *Б. Шлывинскене.* Корректор *Ю. Моцкявичене.* Сдано в набор 13.09.84. Подписано к печати 27.11.84. Издательский № 11418. Формат 70×108 1/16. Офсетная бумага № 2. Гарнитура «Балтика». 14 пунктов. Фотонабор. Офсетная печать. 2,1 печ. л. 9,8 усл. кр.-отт. 2 уч.-изд. л. Тираж 200 000 экз. Заказ 1400. Цена 20 коп. Издательство «Вага», 232600, Вильнюс, пр. Ленина 50. Напечатано в типографии им. К. Пожелы, 233000, Каунас, Гедимино 10.